



Эррико Малатеста
Среди туманов философии
1 ноября 1924

Pensiero e Volontà №21

ru.anarchistlibraries.net

Среди туманов философии

Эррико Малатеста

1 ноября 1924

Я замедлил с ответом моему любезному и учёному оппоненту из *Conscientia*. Для него это не будет иметь значения, а читатели легко простят мне задержку, видя, что в эти бурные моменты вопрос вовсе не является животрепещущим.

Тем не менее мне не кажется бесполезным попытаться внести ясность.

Г. г. из *Conscientia* оценил меня как обладающего «догматическим складом ума». Я ответил, и он возражает, говоря, что мой ответ подтверждает его мнение, будто у меня «сциентистский склад ума»¹. Думает ли он, следовательно, что эти две противоположные характеристики означают одно и то же?

Я протестую против характеристики «догматик», потому что, будучи твёрдым и решительным в том, чего *хочу*, я всегда сомневаюсь в том, что *знаю*, и думаю, что, сколько

¹ Scientista, буквально «сциентистский», но также можно перевести как «научный». Г.г. употребляет это слово в негативном первом значении, а Малатеста, поясняя в пятом абзаце, в положительном втором смысле.

бы усилий ни было приложено для понимания и объяснения Вселенной, до сих пор не достигнуто не только достоверности, но даже вероятности того, что наши знания достоверны, — и не знаю, сможет ли человеческий разум когда-либо это исправить.

Напротив, характеристика «научный склад ума» мне вовсе не неприятна, и я был бы польщён, если бы её заслужил; ибо научный склад ума — это тот, который ищет истину позитивным, рациональным и экспериментальным методом, никогда не обольщается мыслью, что нашёл абсолютную Истину, и довольствуется тем, что с трудом к ней приближается, открывая частичные истины, которые всегда считает предварительными и подлежащими пересмотру. Учёный, каким он, по моему мнению, должен быть, — это тот, кто исследует факты и делает из них логические выводы, какими бы они ни были, в противоположность тем, кто создаёт себе систему и затем ищет ей подтверждение в фактах, а чтобы найти его, бессознательно выбирает факты, которые им подходят, пренебрегая другими и, может быть, насилуя и искажая реальность, чтобы втиснуть её в тиски своих концепций. Он использует *рабочие гипотезы*, то есть делает предположения, которые служат ему руководством и стимулом в его исследованиях, но не остаётся жертвой своих фантазий, принимая, в силу привычки к ним, свои предположения за доказанные истины и обобщая и возводя в закон, с произвольной индукцией, каждый частный факт, который подходит к его тезису.

Сциентизм, который я отвергаю и который, вызванный и питаемый энтузиазмом, последовавшим за поистине изумительными открытиями, сделанными в ту пору в области физикохимии и естественной истории, господствовал над умами во второй половине прошлого века, — это вера в то, что наука есть всё и может всё; это принятие как окончательных истин, как догматов, каждого частич-

Я сознаю своё невежество и признаю его перед самим собой и другими; г. г., как большинство философов, испытывает инстинктивное отвращение к тому, чтобы сказать *не знаю*. Я люблю свет и нахожу, что его никогда не бывает достаточно; г. г. довольствуется туманами.

И я не говорю, что те, кто довольствуется туманами, не могут делать полезного дела для продвижения человеческого духа. Даже блуждая в темноте, можно делать открытия. Поэтому следует восхищаться теми смельчаками, которые устремляются в высокие сферы метафизики; но они должны отдавать себе отчёт, что находятся в темноте, и не обольщаться мыслью, что видят ясно там, где нет ни луча света. Ибо иначе, вместо того чтобы быть пионерами мысли, они будут бесплодными мечтателями и породят лишь почитателей святого Януария... или Гегеля.

ЭРРИКО МАЛАТЕСТА.

угодно несовершенное, которое у нас есть, чтобы контролировать нашу фантазию и систематизировать наши ощущения.

Я охотно допускаю, что из-за нашего невежества и нашей неспособности — не знаю, временной или вечной — понимать то, что называется первопричиной, вещь в себе и так далее и так далее, мы вынуждены в силу интеллектуальной и практической необходимости допускать многое, чего не понимаем, и рассуждать и действовать так, как если бы мы в это верили; — и поэтому, если это может доставить удовольствие г. г., помимо воли к знанию я скажу также *волю верить как можно меньше*, то есть волю узнавать и понимать всё больше.

В конце г. г. хочет заставить меня поверить в сотворение из ничего и в троицу, и, поскольку у него есть подозрение, что Четвёртого Евангелия недостаточно, чтобы убедить меня, он отсылает меня к Гегелю. Покорно благодарю! У Гегеля было столько фантазии, что он мог создать сотню миров и разделить божество на три тысячи, а не на три лица, — и к тому же он был настолько туманен, что то, чего не создавал он, могут заставить создать его интерпретаторы. Впрочем, я сам, который не Гегель (упаси меня Бог!), если бы принялся фантазировать, мог бы придумать много всяких вещей. Но это были бы всё равно тщетные фантазии.

Заключение.

Между мной и г. г. такая разница в складе ума, что мы не можем прийти к согласию и, возможно, даже понять друг друга.

ного открытия; это смешение Науки с Моралью, Силы в механическом смысле слова, которая есть сущность определяемая и измеримая, с моральными силами, Природы с Мыслью, естественного Закона с Волей. Он логически ведёт к фатализму, то есть к отрицанию воли и свободы.

Г. г. говорит, что следовало бы обсуждать мою статью фраза за фразой, что было бы слишком долго, и потому ограничивается тем, что ставит мне вопросы, чтобы я убедился, насколько его постановка проблем далека от моей. Я уже был убеждён; но вот:

Я говорил, что не верю в божественное происхождение Священного Писания, и он отвечает: *Но что понимает Малатеста под Священным Писанием? Бумагу и печатные слова?* Нет, я не дохожу до предположения, что г. г. верит, будто Предвечный Отец на горе Синай или где-либо ещё написал что-то на папирусе или в священных книгах; но верит ли он, да или нет, что Библия боговдохновенна, а не является собранием легенд и поэзии, чем-то вроде фольклора еврейского народа?

Но г. г. продолжает:

Что понимает Малатеста под божественным происхождением? Если под божественным он допускает то, что абсолютно, не эмпирично, то Малатеста признает, что по крайней мере сознание имеет божественное происхождение, поскольку оно позволяет ему, Малатесте, утверждать с абсолютной уверенностью некоторые вещи (так называемую объективную реальность, доказательство как норму истины и так далее). Итак, кто открыл божественность сознания, как не Евангелие? и что такое истина Евангелия, как не опыт сознания?

Отвечаю прежде всего, что я никогда не говорил, будто обладаю «абсолютной уверенностью» в чём-либо (я, напро-

тив, сказал прямо противоположное), а затем, что не понимаю, что это за божественное происхождение сознания. В Бога, понимаемого как существо сознающее и имеющее собственную волю, творца и устроителя Мира, я не верю, а об Абсолюте не знаю, что это такое. Верит ли г. г. в личного Бога, и понимает ли он, что это такое. Абсолют? Если да, блаженен он, но я был бы ему очень обязан, если бы он сообразовал дать мне точный и вразумительный ответ — вразумительный, я имею в виду, для такого малофилософского ума, как мой. И так же, если бы он сообразовал объяснить мне, каким образом именно Евангелие открыло *божественность* сознания; и что означает утверждение, что Евангелие есть опыт сознания! Это поистине слишком герметичный, слишком таинственный язык для меня: я лучше понял бы, если бы г. г. сказал мне, верит ли он, что Христос был богом и что Евангелие есть слово божье, а не рассказ (исторический или легендарный — это мало важно), в котором находятся моральные максимы, которые уже проповедовали предшествующие религии. Фраза «истина Евангелия есть опыт сознания», даже при всей её туманности, заставляет меня думать, что г. г. христианин не потому, что убеждён в истинности христианства, а потому, что *хочет* в него верить: значит, вопрос вкуса, а, как известно, о вкусах не спорят.

Г. г. говорит, что я свожу «волю к вере» к самовнушению. Совершенно верно. Я сказал, что вера (не воля к вере, а сама вера) есть феномен самовнушения. Воля к вере представляется мне скорее умственным самоповреждением, волей уменьшить самого себя, свою личность, своё интеллектуальное достоинство.

Г. г., чтобы опровергнуть меня, вытаскивает на сцену Павла, Августина и Мандзони, которых противопоставляет почитателям святого Януария, о которых я упоминал, и обвиняет меня в том, что я, вместе с Ломброзо, верю, будто

гениальность есть безумие. У меня есть подозрение, что из этих троих по крайней мере один, Августин, почёл бы за честь быть приравненным к почитателям святого Януария, которые не затрудняют себя рассуждениями и обладают наивной, слепой верой, то есть истинной верой. Но какое это имеет значение? Я не позволяю руководить собой ни Павлу, ни Августину, ни Мандзони больше, чем Ломброзо, и не люблю, — тем более что я мало эрудирован, — чтобы вместо хороших доводов мне вытаскивали великие имена. Я предпочёл бы, чтобы г. г. объяснил мне, каким образом из того, что я сказал, мне можно приписать какое-либо одобрение так называемых научных фантазий Ломброзо.

Гении редки, но встречаются во всех вероисповеданиях и вопреки всем вероисповеданиям, и тот факт, что они могут заниматься самовнушением и даже быть глупцами в одной области умственной деятельности, не подрывает их гениальности в другой области. Ньютон был гением, и не именно потому, что комментировал Библию; был гением Леонардо да Винчи, и не потому, что был католиком, если даже и был им.

Все великие верующие, которых г. г. может назвать, и в какой бы религии они ни верили, верили либо по внушению, полученному в детстве, так, по привычке, не рассуждая об этом, либо потому, что *хотели верить* и внушали себе это так сильно, что действительно верили.

Поскольку я противопоставил «волю к знанию» «воле к вере», г. г. спрашивает: *Но какая разница между знанием и верой? между разумом и верой? Тот, кто верит в разум, не совершает ли акт веры в разум?* Да, для того, кто верит в непогрешимость разума, но не для того, кто довольствуется разумом, потому что это единственное оружие, сколь